

Сергей БОРОВИКОВ

ЗАПЯТАЯ-20

В русском жанре-80

I

*Чего только не читали
мои глаза – и вернулись
к вам, чеховские рассказы.*
Михаил Бару

”

В очередной раз обчитавшись Чехова, или, скажем лучше, Чеховым, вдруг мгновенно остро понял, что только он при чтении оказывается столь близко и с невероятно полным чувством жизни никогда не советует, не поучает и даже не сочувствует, а предлагает разделить его убеждение в том, что весь смысл жизни лишь в её неостановимости и его не следует *искать*, на что истрачено столько этих жизней. А до него был только Пушкин, потом же никто.

”

Сидя в очередной раз за Чеховым, обнаружил, что в его прозе до 1888 года, до повести «Степь», почти всё описываемое – время года, погодные приметы, вообще место действия – всё взято из того, что сейчас, за окном. Он избегает того, что было, а всегда берёт то, что сейчас, вблизи. Я не поленился сопоставлять рассказ за рассказом с точными датами первых публикаций, они месяц за месяцем совпадали, что естественно: он и жил и писал сразу, буквально глядя в окно: снег так снег, дождь так дождь, солнце так солнце, что как будто противоречит его словам «Я умею писать только по воспоминаниям...»

Но это из письма Ф.Д. Батюшкову 15 декабря 1897 года, год публикации повести «Мужики», и далее важное уточнение «...и никогда не писал непосредственно с природы. Мне нужно, чтобы память моя процедила сюжет и чтобы на ней, как на фильтре, осталось только то, что важно или типично». И – прошу обратить внимание на мою отметку: «до 1888 года, до повести “Степь”». Для периода же Чехонте моё наблюдение точно буквально, что можно проверить.

”

Как-то я заметил, что мир Чехова как нельзя ближе именно царствованию Александра III, когда власти нет дела до ежедневного существования человека, а ему до неё. Она где-то далеко, и думать-то о ней не хочется, да и не думают обычные люди – фиг с ней, а это для нас, выращенных советским режимом и надолго прищемлённых автократией, лишь завидная фантазия. Конечно, власть бывала беспощадна, но лишь в политическом контексте.

Рассказ 1886 года «В Париж!» был отзвуком на первые опыты лечения от бешенства по методу Луи Пастера, вызвавшие многочисленные публикации. Есть в рассказе и вторая злободневная тема – обсуждение мер по реформе русского правописания, предложенных в 1885 году академиком Я.К. Гротом, в частности упразднения буквы «ять».

Секретарь земской управы и учитель уездного училища возвращаются, пошатываясь, с именин полицейского надзирателя. По пути «легко воспламеняющийся» секретарь ввязывается в «маленькое недоразумение», где «дюжины две обывательских собак» обливают дворянку, которая успевает тыпнуть его за палец.

Вскоре к ним («педагог за 7 руб. в месяц жил и столовался у секретаря») «неожиданно явился уездный врач» с тревожным известием: «Говорят, что собака бешеная». И закручивается уездная история, в которой живейшее участие принимает даже предводитель дворянства: «*Вы поедете к Пастеру... Конечно, это немножко дорого будет стоить, – но что же делать? Здоровье дороже... И вы успокойтесь, да и мы будем покойны... Я сейчас говорил с председателем Иваном Алексеичем. Он думает, что управа даст вам на дорогу... Со своей стороны моя жена даст вам двести рублей... Что же вам еще нужно? Собирайтесь! А пачпорты я вам быстро выхлопочу...*»

Педагог рад, а укушенный нет: «*Чего я там не видел? Ну его!*» И уже на станции пьяный «не вынес и разревелся...

– *Не поеду! – рванулся он от вагона. – Пусть я лучше сбешусь, чем к пастору ехать!*»

Через четыре дня сёстры секретаря «сидя у окошка и тоскуя, увидели вдруг идущего домой» пьяного педагога, который рассказал им, как в Курске «*в трактире Вася рюмку за рюмкой... “Ты, кричит, на погибель меня везёшь!” Шуметь начал... А как после водки херес стал пить, то... протокол составили. Дальше – больше, и... всё до копейки! Еле на дорогу осталось...*

– *Где же Вася? – встревожились девицы.*

– *В Ку... Курске... Просил, что б вы ему скорей денег на дорогу выслали...*

Педагог мотнул головой, утёр лицо и добавил:

– *А Курск хороший город! Очень хороший. С удовольствием там день прожил...*»

Нашлось в рассказе место и рассуждениям педагога о языковой реформе, и живущим с секретарем тётке, свояченице и четырьмя сестрам, всего там одиннадцать действующих лиц, и названы ещё четверо местных жителей, и у всех указан род занятий: кроме служащих в земской управе и училище, в полиции, уездный врач, предводитель дворянства и хозяин трактира.

Есть сцена, где секретарь сидит «*на самой верхушке высокого тополя и привязывает там скворечню*», а педагог внизу под деревом «*держит молоток и верёвочки*», а собачья драка прямо-таки отдельный рассказ. И всё это на нескольких страницах!

И – к тому, с чего начал: всё – и скорые заграничные «пачпорты», и то, что Васю в участке полицейские не станут избивать и подбрасывать наркотики, а деньги в Курск почтой быстро дойдут, и прочее, всё это было вполне реально в России конца XIX века, в царствование Александра Миротворца.

Дуся – так обращалась в разговоре самая лживая из чеховских героинь Ариадна. И это обращение он сделал главным с единственной женой.

II

Не раз я писал о плотоядности прозы Алексея Н. Толстого, но лишь недавно обратил внимание на то, как именно деревянный мальчик обозвал петуха, вцепившись в которого удирал от Карабаса с Дуремаром:

«– *Это ты меня предал, старый котлетный фари!* – свирепо вытянув нос, сказал ему Буратино. – Ну, теперь лупи что есть духу...»

А ведь смышленный герой учится у хозяина харчевни:

«– Пошло прочь, старое бульонное мясо! – крикнул на петуха хозяин...»

Юмор-то юмор, только чересчур кровожадно-гастрономический.

...

С. Чупринин в книге «Оттепель: действующие лица» представляет Вениамина Каверина как редкого везунчика:

«Литературная биография К. безупречна: в ней нет ни строк, ни поступков, которых он мог бы стыдиться. И, надо сказать, его современников это даже смущало: “Бог, – завистливо говорит Е. Шварц, – послал ему ровную, на редкость счастливую судьбу, похожую на шоссе на дороге, по которой катится не телега его жизни, а ее легковой автомобиль”».

Прочитав, я задумался: почему этот писатель интересовал меня меньше других достойных его коллег, даже Федина, романный метод которого так славно определила моя филфakovская наставница Гера Макаровская: *«Сто раз палочкой потычет во все стороны – можно ли ступить...?»*

Когда-то, старшекласником, прочитал почти все шесть томов его собрания (1963-66)¹. Почти, потому что не одолел там совхозных очерков, документальной книги об Осипе Сенковском и пьес. Да, у Каверина есть всё. Есть и повесть² «Семь пар нечистых» о политзеках на судне в войну (публ. 1962 – самый антикультовский год), есть комедия с американскими инженерами в СССР «Укрощение мистера Робинзона» (1933) – похоже на Эренбурга, но преснее, есть даже и сказки. И хорошо помню, что разочарование началось с повести «Конец хазы» (1924), с агентами угрозыска, проститутками, с уголовниками, изъясняющимися на фене, и... скучно, господа, тем более что в то самое время я читал «Гиперболоид инженера Гарина». Правда, несколько увлѣк филологический роман «Скандалист или Вечера на Васильевском острове» (1928) с изображением Виктора Шкловского, Павла Щѣголева и Алексея Толстого, о чем спустя годы я написал статью: «Пастухов, Бондаревский, Путьтин»³, где сравнивал три карикатуры на Ал.Толстого у Каверина, у Федина в трилогии, Булгакова в «Театральном романе», и не в пользу Каверина даже с Фединами. Сопоставления с условно равными писателями Каверин всегда проигрывает, но как-то негромко, ведь не было у него не то что заимствований, но как бы и зависимости от кого-то, разве что от английского романа в сюжетных ходах. Лидия Гинзбург исчерпывающе припечатала: *«Каверин – человек с талантом безответственной выдумки. Он лишен фантазии. Фантазия (Гофман, Свифт, Сервантес) работает ассоциациями; между тем Каверин выдумывает не ряды вещей, а вещи, из которых каждую последующую можно было бы выдумать, не выдумав предыдущей»*⁴. Как сюжетную завязку с утонувшим почтальоном в «Двух капитанах».

Был он человек независимый, а его произведения удивительным образом приходились режиму ко двору. Вот Николай Антонович из романа «Два капитана». В нём писатель без опасе-

¹ Издание это на редкость удачно оформлено, только вопреки всем издательским правилам нигде не указана фамилия художника, что могло быть только в случае большой его провинности – скорее всего эмиграции. Между прочим, в те же годы вышел и столь же необычного для гослитовских собраний формата девятитомник Эренбурга в не менее превосходном оформлении знаменитого Феликса Збарского. Вообще в позднюю Оттепель был и небывалый расцвет книжной графики.

² Книжная аннотация: «Действие повести происходит в первые дни Отечественной войны на Северном Флоте. Молодой лейтенант Сбоев откомандирован на борт старенького парохода “Онега”, чтобы сопровождать груз с оружием. Помимо этого пароход принимает на борт группу заключенных, которых везут на строительство военного аэродрома. Во время следования до места назначения часть заключенных планирует захватить судно и бежать в Норвегию»... короче, политзеки становятся героями ВОВ.

³ Волга. 1982. №2.

⁴ Лидия Гинзбург. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. Санкт-Петербург: «Искусство-СПБ», 2002. С.395.

ния преувеличить собрал из густого, чрезмерного, словно у Диккенса, как он любил, негатива законченного негодяя, а получилось, что в годы публикации тот сделался образцовым примером неразоблаченного врага Советской власти из русских интеллигентов.

Говоря о романе «Два капитана» не будем забывать, что 1-я книга печаталась в 1938–1940 гг., а потом он взялся за благополучное завершение судеб героев и написал 2-ю книгу (1940), где слабости умозрительного реализма писателя уже возобладают. Слабость 2-й книги была сразу подмечена.

«Обилие деталей, может быть, верных и трогательных самих по себе, но увиденных не Саней Григорьевым, а Кавериним, вернее даже не увиденных, а собранных заботливо из того, что увидено другими, похожих и на засушенные цветы, сушит книгу, мельчит и центральный образ, и его автора. <...> Нам жаль, что Каверин написал вторую книгу “Двух капитанов”», – писала Вера Смирнова. Западный приём продолжения повествования чередованием рассказа двух главных героев сильно подвёл писателя: речь Сани и Кати ничем не отлична, и равно бесцветна.

И вот кое-кем статья Смирновой преподносится как донос наверх с целью не допустить при-суждение роману Сталинской премии. Сын писателя отозвался так: *«...была резкая критическая статья Веры Смирновой. Я не помню, за что именно она критиковала роман. Возможно, за то, что там не отражена роль Партии и Комсомола, практически нигде не упоминается Сталин».* Но ничего подобного у Смирновой нет.

В оценках творчества Каверина на первое место как правило выходит его безукоризненная общественно-политическая репутация. Я даже грешным делом думаю, что сознавая или хотя бы ощущая малокровие своей музы, он стал эту вялость компенсировать противовластной гражданской активностью. Вернёмся к отзыву Чупринина.

«Особенно жесткими, до нетерпимости, становятся каверинские интонации, когда он обращается к тем, с кем разошлись общие некогда пути-дороги: уличает в “недостовренности” и “нравственной фальши” книгу В. Катаева “Алмазный мой венец”, одергивает – “Тень, знай свое место!” – Н. Мандельштам, срамит К. Федина за предательство идеалов их юности. Смолоду эстет и артист, мастер интеллектуальных и художественных провокаций, К., как это и случается обыкновенно в русской литературе, ближе к склону лет становится моралистом, и – особенно когда дело касается былого – моралистом атакующим».

””

Аналогично воспринимаю и Константина Паустовского: не люблю книг, но подобно большинству уважаю независимость.

Большинство-то большинство, но не все:

«Рекламисты. Паустовский в 1956 году хрипел в ЦДЛ, когда обсуждался роман Дудинцева:

“У меня рак горла, мне недолго осталось жить, я должен говорить правду”.

В 1966 году в Тарусе Паустовский хрипел по поводу Синявского: “Не знаю, какова литературная ценность романа, но обнародование романа безвредно”».

(Варлам Шаламов, из записной книжки.)

Пушкинская формула о гении и злодействе, как и возможность соединения преданности власти с несомненным литературным талантом, в его век не могла иметь столь прикладного смысла, как при советском режиме, когда, по замечанию Давида Самойлова, «в нашей литературе поведение стоит произведения».

””

Как-то я посожалел о том, что Всеволод Иванов находится вне внимания современной либеральной критики, которая сильно прополоскала многих советских классиков. Причина, думаю,

была в непререкаемом авторитете его сына Вячеслава, лингвистического гуру либерального лагеря, вот папу и не трогали.

А трогать конечно было за что.

В 1932 году преуспевающий писатель и якобы любимец Сталина¹, Всеволод Иванов взялся утопить новую пьесу Николая Эрдмана «Самоубийца». Вот внутренняя рецензия для альманаха «Год шестнадцатый», который вскоре будет запрещен за публикацию басен Эрдмана и Массы.

«Пьеса Н. Эрдмана “Самоубийца” очень хлесткий, хотя и устаревший фельетон.

Так как сценическая часть оной пьесы нас мало интересует, а больше литературная, то в пьесе несомненно, с одной стороны, огромное влияние стиля Сухово-Кобылина, с другой же, жаргонной прозы, к которой примыкает Зоценко.

Пьеса, по-моему, среднего качества, но т. к. вокруг нее создалась легенда и очень много людей искусства считает, что непоявление ее на сцене или в печати есть факт затирания гения, то я полагаю, оную пьесу стоит напечатать с тем, чтобы разоблачить мифическую гениальность.

Выпады, вроде реплик писателя и т. п., стоит вычистить, ибо они представляют малую художественную ценность и вряд ли ее улучшат, хотя именно эти-то выпады и придадут известный “перец” пьесе, без них она вряд ли представляла бы какой-либо интерес».

Вс. Иванов».

Сам же в те годы публикует несколько новых пьес, а в 1936-м примется и за булгаковского «Мольера» во МХАТе.

А Михаил Афанасьевич оставался верен своему бесстрашию.

«Иосифу Виссарионовичу Сталину от драматурга Михаила Афанасьевича Булгакова.

Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович!

Разрешите мне обратиться к Вам с просьбой, касающейся драматурга Николая Робертовича Эрдмана, отбывшего полностью трехлетний срок своей ссылки в городах Енисейске и Томске и в настоящее время проживающего в г. Калинин.

Уверенный в том, что литературные дарования чрезвычайно ценны в нашем отечестве, и зная в то же время, что литератор Н. Эрдман теперь лишен возможности применить свои способности вследствие создавшегося к нему отрицательного отношения, получившего резкое выражение в прессе, я позволяю себе просить Вас обратить внимание на его судьбу.

Находясь в надежде, что участь литератора Н. Эрдмана будет смягчена, если Вы найдете нужным рассмотреть эту просьбу, я горячо прошу о том, чтобы Н. Эрдману была дана возможность вернуться в Москву, беспрепятственно трудиться в литературе, выйдя из состояния одиночества и душевного угнетения.

М. Булгаков.

Москва, 4 февраля 1938 года».

...

«31 мая 1971 г. Пока Л.М. Леонов за плотно зашторенными окнами “кодирует” тексты своих книг, написанных “эзоповым языком”, народ в трамваях и пивных, ничего не боясь, трехэтажным матом озвучивает свои мысли, солидарные с текстами классика».

(В. Десятников. Дневник.)

Надо заметить, что художник Десятников был не просто поклонником, но фанатом писателя, и всё же, наслушавшись в электричке гласа народного, не удержался сопоставить.

¹ Не верю достоверности его слов, что якобы отказал вождю, когда тот захотел написать предисловие к его книге, и не столько из сомнения в его храбрости, сколько в явной несклонности Сталина к подобному жанру.

””

Когда-то, в блаженные брежневские дни, в редакции журнала «Волга» заместитель главного редактора Котов любил зачитывать молодым стихотворцам в качестве образцово-показательных строки нижегородца Александра Люкина:

*Крестьянский сын,
Воспитанник завода,
И. волею судьбы
Интеллигент.*

Тогда главными саратовскими поэтами были Исай Тобольский и Николай Палькин, оба прожили до старости, но для надгробия строк не оставили, как бывший до них главным Борис Озёрный (Дурнов), в сорок семь лет раздавленный поездом, на чьей могиле написано: *«Только поэт умирает как лебедь, роняя перо...»*

””

Однажды нам домой пришло письмо с обратным адресом Леонида Леонова (Москва, ул. Герцена, 37, кв. 10) – и отец так взволновался, что, вопросительно задумавшись, долго не открывал конверта. Увы, писал писал ему не сам классик, а знакомый отца по работе в 1952 году в аппарате Союза писателей литератор Николай Стор. Причиной письма была публикация в журнале «Волга» переводного детектива, который желала прочитать супруга Леонида Максимовича, чьим секретарём служил Стор. Помню трагикомическую гримасу отца, прочитавшего просьбу найти и выслать необходимый номер «Волги».

2023